



Г. А. ЛАНДАУ

Пушкин как воспитатель

Национальными бывают великие писатели по-разному. В одних выражается народная душа, другие ее обнажают, третьи — воспитывают. В творчестве Толстого вылилась стихия русского народа, его верхов и низов, космическое дыхание русской земли — в сочетании с рационализмом нравственных исканий; пассивность непротivления — с органической мощью жизни личной и массовой. В Толстом, как в идеальном эхо, отображается и второй раз живет русская жизнь на глазах человечества. Достоевский вышел на мировую площадь с публичной исповедью и покаянием, обнажая сокровенное, выводя на свет, что таится и зыблется в полумраке. Но, в словах и образах разоблачив и закрепив подспудные токи души, он тем самым и обнаружил и исказил ее. Ибо разъятая душа, освещенная рефлектором, перестает быть живой, оставаясь в мире подсолнечном измученным и мучительным привидением. Обнажая внутренние душевные тайники, можно провидеть и линии судеб народных, в конце концов в них предрешенные, но нельзя их проводить. Подчас и юродивый, кающийся на площади за себя, кается и за всех, доводя до общего сознания всенародные грехи; он верно прорицает угрозы скрытого в них возмездия; он предвидит будущее, но не он его предотвратит и не он его построит.

Можно быть и в ином смысле национальным — не отображая или обнажая народную душу, а ее воспитывая. Таков в русской культуре — Пушкин. Пушкин выковал язык, на котором говорили поколения; его были первые стихи, разучиваемые в детстве, и первые повести, вскармливавшие отроческое воображение; его эмоциональные формулы чеканили десятилетиями чувства подрастающих поколений, его образы утверждались в памяти и в годы пластичности юной души ее оформляли. Можно было отойти от Пушкина, отвергнуть его, даже его забыть. Но слишком

поздно: он оставался, как остается почва в своих произрастаниях, он оставался в своих последствиях, в своих продолжателях; в вдохновенной им музыке — он продолжал творить гением Глинки и Мусоргского, Римского и Чайковского. И даже уничтожал его Писарев его же языком.

Извне воспитывать нельзя; только учителем может быть чужой, а не воспитателем. В воспитателе народа должна жить народная душа. В этом смысле, разумеется, в Пушкине отображается и русская душа, и русская жизнь. Из нее происшедшие, его творения вливаются в нее как неразрывные части, как бы возвращаясь к своей субстанции. Но отображается жизнь — претворенная; не только бытие народное — но и народный запрос; и запрос не только как фактическое алкание, но и как поставленная судьбой задача; говоря скучными философствующими словами — отображается не только народная данность, а и народная заданность. Он не эхо, а именно поэт — делатель, творец; не только своих произведений, но и коллективной души, не только того, что в ней есть, но и того, чего она жаждет. Татьяна не жила в ту эпоху, как Наташа Ростова, или позже, как Анна Каренина, — она предносилась как из жизни выросшая идея живой русской женщины. Пимен и няня — не дагерротипы, Пимен и няня — отображения реальности в ее идее. И потому связанный средой Пушкин все же свободнее, вольнее других. Для Толстого, Достоевского существует только предлежащая им жизнь современных или непосредственно предшествовавших поколений; вечное же — поскольку оно в них заключено. Для Пушкина нет границ времени — он волен в истории, он волен в сказке; нет и границ пространства; «Моцарт и Сальери» — одно из чеканнейших его произведений.

Как Петр, как Ломоносов — Пушкин строитель; но строительство происходит не в потемках, оно требует света; в строительстве к стихии и интуиции должна приводить сознательность, воля, активность. Строительство предполагает утверждение. Пушкин — поэт сознательности, равновесия, ясного горизонта. Его герой не Кутузов, мудрый в сонливости, а Барклай-де-Толли, человек пронизательной, высокой мысли¹. Его герой не Каратаев и не Зосима, а Петр. Он поэт синтеза, звучной полноты, творимой в природе творческой жизни.

Это, конечно, не значит, что этими тонами и содержаниями исчерпываются и ограничиваются его образы. То, что он поэт света, не значит, что он не знает тьмы, и то, что он поэт брызжущей жизнерадостности, не значит, что он не знает уныния и печали. Большой душе, богатому дарованию — ничто не чуждо; ей

внятна жизни мышья беготня так же, как ее широкие потоки; парки бабье лепетанье и кружение бесов так же, как широкий солнечный простор; она знает минуты отчаяния. Причастный всему благородному, Пушкин смолоду преисполнен щемящей грустью расставаний — вместе с очарованием дружбы благороднейшим мотивом тонких душ. Элегия и печаль чрезвычайно близки ему — но печаль его светла. Ему ведомы и труд, и горе. Но хочет он — жить, чтобы мыслить и страдать, и он знает и уверен в наслаждениях — среди горести забот и треволнений, — в наслаждениях гармонии, вымысла и любви.

Поэтому тщетен замысел иных современных исследователей — пересмотреть Пушкина, подменить его образ, неотъемлемо вошедший в русскую культуру, созданный не им одним, но и сотрудничающей любовью внимавших ему поколений, бросить на него отблеск современной проблематики и сумеречности². Не потому тщетен этот замысел, чтобы не было в Пушкине и проблематики, и пессимизма, ибо ничто не чуждо большому поэту; но определяют его не отдельные минуты и не раскопки возможных истолкований — а самое творчество в его совокупности и конкретности; не отдельные линии, как их по касательной можно провести от тех или иных образов, а общий их облик, общее их выражение.

И как Пушкин — поэт синтеза личности, так он и поэт синтеза общечеловечности-государственности. В некотором смысле это наиболее замечательная его черта. Единственный из великих русских писателей — да и из одних ли великих — он воспел государственность, ее героев, ее победы, ее создания; воспел «труды державства и войны». К Петру он возвращается неоднократно; проблема смуты и преодоления или поражения в смуте — дает содержание замечательнейших произведений. Шведы, Польша, Кавказ — для него желанные темы. Петербург для него — не гримаса, как у Гоголя, не кошмар, как у Достоевского, не привидение, как у Белого, — а славный град Петра, в береговой гранит которого он верит.

Он знает приветливую Коломну, он провидит подпольного человека³; но центр для него не на Ямской Достоевского, а на Сенатской площади. Поэтом петровского строительства, имперского Петербурга был он без сомнений и колебаний; в задачах внутреннего строительства он не колебался, никогда от них не отрякаясь и не подменяя их ни внутренним совершенствованием, ни внешним озарением.

Пушкин был продолжателем Петра, строителем и воспитателем. Неблагодарна роль воспитателя: осуществляя свое на-

значение, он переливает свои содержания в воспитанников и, сделав их подобными себе, теряет неповторимость своей личности, ибо проникшиеся им перестают его замечать. Неблагодарна она и перед иностранцами; их неизменно захватывает душа чужого народа, и увлекаются они ее обнаружением и разоблачением, черпая в этом для себя не только занимательность необычного, но и поучительность неизведанного. Они жадно впитывают все роковое чужой исповеди, не опасное для них именно потому, что в нем опасности чужие. Они без страха будут радоваться непротивлению Толстого и без риска скользить над безднами Достоевского. Пушкин всегда будет им казаться менее увлекательным и менее интересным. И в России он стал уже самоочевидностью, хлебом насущным, речью страны, пробужденной Петром.

Но если в этом смысле Россия им ответила на дело Петра⁴, она возразила на него Толстым и Достоевским. Стихии русской жизни, непокоренные и неоформленные, вырывались и протестовали против уз государственности, против принуждения внешней культуры и самоограничения внутренней; вырывались, отрицая, как Толстой, или мучаясь и тоскуя, как Достоевский. Нельзя скрывать от себя — воспитательное значение Пушкина стало уже давно подрываться. То, что в последнее время усиленно стали его изучать, не должно нас обманывать — это изучение антикварное; эстеты не продолжают его, а под него стилизуют. Он стал излюбленным объектом изучения, перестав быть незамечаемым воздухом, которым дышат.

Язык его к концу века преобразен изощренностью декадентов, символистов, модернистов. Простота и ясность его, конечно конгениальные русской душе, но отнюдь не исчерпывающие ее, как отнюдь не исчерпывают русской литературы, — стали уступать гениальной ужимке Гоголя, через Достоевского перешедшей в гримасу Белого. Звучная жизнерадостность уступила мучительству Достоевского и оскомине Чехова. Разъятие синтеза личности через Достоевского же доведено до последних границ у Андреева; синтез государственности разъят Толстым и рядом с ним и вслед за ним революционной и народнической интеллигенцией. Из героя Петр — стал антихристом, Петербург — привидением. Разделяется дело Петра, и на месте архангельского рыбака, ставшего академиком, появляется академик из рабфака. Мазепе возводится памятник, наводнение из Петербурга разлилось по всей России, бунт беспощадный и бессмысленный стал действительностью.

Нельзя обольщаться. Строй Петра и образ Пушкина не смогли удержать в своем ограниченном оформлении безбрежных русских стихий. Их воспитание сказалось на блестящей эпохе имперской России, на замечательной культуре, на сказочном росте вовне и внутри. Но его не хватило, чтобы пронизать собой эти могуче вздымавшиеся массы; и из ее безграничных просторов и из ее неопознанных глубин шли токи, подточившие строение изнутри прежде, чем оно было снесено извне.

И вот заново надо строить, сызнова начинать. Наследие прошлого — тот капитал и орудие, которыми будет построено будущее. В этом, наследии, богатом, разнообразном и противоречивом, Пушкин, свергнутый как властитель культуры, остается частичной, все еще великой, силой, утешающим образом, границей души. Он во всяком случае остается одним из тех знамен, между которыми придется выбирать вступающим в жизнь поколениям. Все — славные знамена, оставленные старой культурой. И все же придется, чтоб понести одно из них, отказаться — хотя бы с любовью и пиететом — от других, придется их преодолеть.

Спасут Россию те, кто пойдет за знаменем Пушкина.

